

Константин Леонтьев

# Четыре письма с Афона



Константин Леонтьев  
**Четыре письма с Афона**

«Public Domain»

1884

**Леонтьев К. Н.**

Четыре письма с Афона / К. Н. Леонтьев — «Public Domain», 1884

ISBN 978-5-457-13304-4

«Двенадцать лет тому назад я гостил долго на Святой Горе. Все, не только подвижническое, но и просто сказать – христианское, для меня тогда было как будто ново; но это, новое, было не в самом деле чем-то новым, но непростительно и легкомысленно забытым; и вот, живя на Афоне, я постепенно опять научился всем сердцем понимать те самые мысли и слова, которые я слышал давно и знал с детства, но которых истинный смысл был мною пренебрежен и не понят. Мне хотелось по-своему писать об этих словах и мыслях, об этих названиях и чувствах...»

ISBN 978-5-457-13304-4

© Леонтьев К. Н., 1884

© Public Domain, 1884

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Письмо 1-е                        | 6  |
| Письмо 2-е                        | 9  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 11 |

## Константин Николаевич Леонтьев

### Четыре письма с Афона

Двенадцать лет тому назад я гостил долго на Святой Горе. Все, не только подвижническое, но и просто сказать – христианское, для меня тогда было *как будто* ново; но это, новое, было не в самом деле чем-то новым, но непростительно и легкомысленно забытым; и вот, живя на Афоне, я постепенно опять научился всем сердцем понимать те самые мысли и слова, которые я слышал давно и знал с детства, но которых истинный смысл был мною пренебрежен и не понят. Мне хотелось *по-своему* писать об этих *словах и мыслях*, об этих *названиях и чувствах*. Хотелось писать на память, как вздумается. И вот я представил себе человека русского, образованного, *думающего*, который долго (подобно мне) жил без руководства веры... и, наконец, почувствовал потребность этого руководства. Обстоятельства жизни этого человека могли быть иные, чем мои, чувства – те же. Мне хотелось передать эти чувства, эту радость первого обращения и если не всю ту работу мысли, которая помирила во мне *реалиста с христианином*, то хоть часть ее...

Я желал, чтобы эти письма были легки, и доступны, и живы. Я вообразил себе, что у моего вымышленного автора этих писем осталась в России молодая подруга – жена, невеста, дочь, младшая любимая сестра – это все равно... что, покинув ее *для Бога* (навсегда ли, если он должен стать монахом, на время ли только, – если он должен вернуться «в мир») – он хочет передать ей свои мысли; обратить и ее на свой путь для того ли, чтобы необходимая разлука и разрыв стали бы ей легче, или для того, чтобы духовная борьба и христианское сожительство впоследствии были бы им приятнее при полном единомыслии. Поэтому я и выбрал форму изложения самую свободную, почти беспорядочную, я предпочел писать – *что писалось и как думалось*... без системы и очереди.

Долго лежали у меня эти письма, – я находил их незрелыми и не стоящими внимания; я думал, что они ценны только для меня; но недавно мне случилось прочесть эти избранные четыре письма в довольно многочисленном обществе *молодых людей*... Я увидел гораздо больше сочувствия, чем, признаюсь, мог ожидать от «современных» юношей.

Эта случайность навела меня на мысль – напечатать эти отрывки. Вреда от них, вероятно, никому не будет; а если будет хоть малая доля душевной пользы, – то вот больше ничего и не нужно!

*К. Леонтьев*

*Москва. 1884 г.*

## Письмо 1-е

1 июня 1872 г. Св. Гора.

Вот уже более полугода как я живу на Афоне или скитаюсь по его окрестностям; но самое даже краткое пребывание за чертой его для меня тяжело.

Я многому научился и многое забыл. Я понял вещи, которые прежде мне были странны и чужды, и дивлюсь теперь, как могли они быть мне чужды.

Я многое видел и многое прочел. На столе моем рядом лежат Прудон и Пророк Давид, Байрон и Златоуст; Иоанн Дамаскин и Гете; Хомяков и Герцен. Здесь я покойнее, чем был в миру: здесь я и мир люблю, как далекую и безвредную картину... Я с удовольствием думаю иногда о жизни больших городов, о далекой родине нашей, о прежних друзьях, об умерших и близких нам людях...

Афон и от политических вопросов не отдаляет вполне человека, если он *хочет* сам за ними следить; конечно, гораздо менее, чем жизнь иных округов в России. Здесь ежедневно слышишь новости о Болгарском вопросе; о переменах министерств в Царьграде; есть *оттенки* и на самом Афоне; газеты приносят европейские известия; беспрестанно приезжают из России поклонники и слышишь их суждения о наших внутренних делах... А между тем все тихо; жизнь течет правильно, без суеты и грома. Застоя нет; жизнь не засыпает и труд виден везде. В лесах встречаются тебе пешеходы, монахи, рабочие болгары или греки; бородатые поклонники русские; кавасы монастырские в фустанелле воинственной и с ружьем; встречаются мулы, навьюченные камнями, досками или чем-нибудь иным. Дороги чинят; над ручьями и пропастями поделаны прочные мостики; беспрестанно попадаются кресты на поворотах и границах; фонтаны для проходящих и на них надписи благочестия; иногда в глуши леса видишь около дороги небольшую икону, вставленную в кору платана или дуба. На далекие расстояния проведена с гор хорошая вода по простым, деревянным желобкам... Путник идет и вода – то бежит рядом с ним по земле, то журчит и каплет сверху, когда желобок поднят на столбах и перекинут над дорогой... Везде из зелени кустарников и леса видны белые домики; это пустынные келий, целые хозяйственные жилища с домовыми церквями, и хижины, пустыньки без церквей. Там и сям воздвигаются новые постройки; строятся новые храмы, новые скиты и новые келий. Слышишь много жизни, но не видишь грома и суеты. Все здесь растет как-то незримо и без того шума неосмысленного и холодного, который так нестерпим иногда и в небольших городах, если только они увлеклись промышленным потоком...

Я многому здесь научился и многое узнал; впрочем, многого я и не видел; иные, приезжая на Афон, ищут с особенной любовью древностей; но я еще ни в одну монастырскую библиотеку не входил; рукописей древних не смотрел и смотреть не буду. Я верю на слово, что это все поучительно и драгоценно.

Легкая или тяжелая постройка собора; изящество купола; выбор цветов для окраски стен церковных и крыш, конечно, занимают меня гораздо более. Любопытно сравнивать древне-византийские здания с новыми постройками, или древнюю иконопись с нашей нынешней русской, или даже замечать разницу в убранстве монастырских приемных у греков и русских. Можно легко убедиться, наблюдая все это, как почти все, что касается до внутреннего убранства храмов: иконопись, иконостасы, облачения – у русских лучше, чем у греков, как-то изящнее, *живее*, так сказать, и благолепнее. Пение наше церковное с греческим, ты сама знаешь, и сравнить нельзя! Зато у греков и болгар постройки лучше, больше вкуса, больше прочности, больше фантазии восточной и архитектурной поэзии; наши, к несчастью, слишком склонны, следуя полунемецкой казенщине нашей, к казарменным линиям, к белым штукатуренным прямым стенам, к зеленым крышам и куполам, тогда как зеленый цвет и

для виду на *естественной* зелени самый невыгодный и неприятный и уже слишком напоминает загородный дом разжившегося русского немца. Вообще на русских постройках заметны слишком следы наших казенных архитекторов, воздвигавших по всем уездам и губерниям станции желтые, казармы белые, церкви белые с зеленым...

В греческих и болгарских комнатах и приемных также больше восточного простора и величавой турецкой простоты: ковер, диван вокруг стены, камин хороший в средней стене или даже русская печка; в иных приемных колонки, разделяющие комнату надвое, на возвышенную половину, на ту, где почетный диван, и на небольшое преддверие. На русских гостиницах для приезжающих очень тепло и во многом удобно; но русские уж слишком падки до плохой *европейской* мебели, до маленьких, неудобных диванчиков с разными зигзагами, до множества стульев, которые гораздо более были бы на месте в пещерах аскетов, чем в комнатах, которые назначены для успокоения и приема гостей. Большая также страсть к маленьким картинкам и множеству мелких фотографий по стенам; к вязанным ажура скатертям и к женским печатным дешевым платкам, которые служат здесь вместо столовых покрышек... Одним словом, в приемной греческой или болгарской как будто видишь перед собой почтенного турка в чалме и широкой одежде, курящего чубук; а в русских гостиницах скорее вспомнишь своего знакомого Карла Иваныча, которому Марья Ивановна готовит к именинам вязаный или вышитый по канве сюрприз.

Разумеется, изящество и *хорошая*, а не ложная простота в этом случае на стороне восточных жителей. Впрочем, относительно построек надо сказать в оправдание русских монахов две очень важные вещи. Конечно, я того мнения, что *комната*, жилище самого монаха, должна быть сурова, проста, пуста, даже тесна... Но весь *монастырь*, если он имеет средства, его храмы, все здания его должны быть красивы, изящны и величественны. У греков и болгар обители или давние, построенные еще по хорошим образцам и под влиянием более свободного полета идеальной мысли, чем нынешний ее полет, подстреленный утилитаризмом. Но наши монахи принесли сюда из России в воспоминаниях какие образцы?.. Можно ли их винить за недостаток вкуса, когда едва-едва с половины прошлого царствования высший круг наш, люди власти, и сами художники наши обратили более серьезное внимание на византийский стиль?.. После *голландских*, скромных вкусов Петра Великого мы пережили Renaissance Казанского собора и гососо, и только очень недавно стало заметно более самобытное движение архитектурной мысли.

Иные люди находят, что попытки эти новые все еще довольно слабы, что Исаакиевский собор представляет собой нечто вроде верха св. Петра римского на корпусе какого-то английского банка; что милая, теплая, пестрая часовня, построенная на Невском проспекте, не легка, вдавлена в землю, что новая, Греческая церковь на Лиговке тоже имеет свои недостатки... Я не архитектор и не археолог; я в этом деле только *один голос из толпы*, но имею глаза и чувства. Я кой-что знаю и очень многого *не* знаю. Помню многие названия без смысла и знаю нередко мысль, но не умею ее назвать как следует. Но я, мне кажется, *все понимаю*, когда со мной говорят художники и археологи. Я хочу только сказать одно, что *нынешнее направление* архитектуры русской лучше, плодотворнее прежнего. Есть стремление к *личному творчеству в пределах обычая* или устава; а это, мне кажется, и есть существенное условие *своего стиля*. Чтобы яснее представить это направление, лучше всего сравнить Зимний дворец с Новым Московским в Кремле; или вспомнить, как недавно у нас стали возможны такие дома, как дом Иерусалимского Подворья в Петербурге, около дома Белосельской. Итак, если наше высшее общество, наше государство, наш Двор, наша художественная интеллигенция, наша Академия только что вышли на лучший путь... то какое же право имеем мы строго судить вкус наших афонцев, которых вожди пришли сюда в 30-х и 40-х годах и дали, что могли... Другое оправдание для них вот какое. Старые здания у греков и болгар – старые; они оригинальны. А новые, например, в Зографе болгарском и в Ватопеде

греческом, положим, прекрасны; они построены из хорошего тесаного камня, *не спеша*, со вкусом, с простором, с прочностью... Особенно зографские новые постройки великолепны, царственны!.. Но обе эти обители имели издавна большие имения в Бессарабии с определенными и верными доходами. Братия у них сравнительно не очень многочисленна. А русские монахи все почти теснятся в двух больших киновиях: в Руссике и в Серае или Андреевском скиту. Вообще на Св. Горе русских немного; на семь или восемь тысяч монахов наших, кажется, тысяча с небольшим; иные говорят, что и того не будет! Греки и болгары, хотя и в большем числе, но рассеяны по 19 монастырям, по нескольким зависимым скитам и по множеству пустынных келий, хижин, шалашей, пещер; русских же в *Руссике* около 400 (не считая постоянных поклонников, которых надобно поместить), а в Андреевском скиту больше 200. Имений больших нет ни у Руссика, ни у Андреевского скита. Устроились они очень недавно все на добровольные подаяния из России. Скит воздвигся необычайно быстро и вырос в целую обитель из одного патриаршего дома. В Руссике наши монахи, приглашенные греками, нашли почти одни развалины и бедность. Теперь это самый многолюдный и оживленный монастырь. И монастырь этот и скит св. Андрея и теперь все еще строятся, и все еще в них тесно.

Понятно после этого, почему в постройках русских видна спешность, потребность дешевизны и первых удобств; узкие темные коридоры вместо широких и открытых зографских галерей; кирпич и штукатурка белая, или сероватая, или желтая вместо прекрасного тесаного камня Зографа и Ватопеда; простые четырехугольные окна на казарменных стенах вместо окон изящных, окруженных и широких, иногда двойных с колонкой посередине, которыми любуешься в греко-болгарских обителях. У русских обыкновенно приземистые трубы на крышах, в них и видишь только скучные обыкновенные трубы, видишь *пользу*, теплоту печей... Тогда как, подъезжая к Ватопеду, дивишься на целый лес мелких, круглых и высоких *колонок* с красными капителями наверху, покрывающих крыши солидных корпусов... Что такое это? Это тоже трубы, но трубы *неспешные*; это трубы художественные...

Да! Если рассматривать дело только с точки зрения результата и красоты, русские обители не очень хороши. Но если знать и помнить все трудности, с которыми русские монахи боролись, всю вынужденную обстоятельствами спешность созидания, быстрый рост их обителей; бесчисленные и сложные заботы, которые обременяли их духовных вождей на чужой стороне: неопределенность доходов, долги, требования некоторого рода дипломатии при всем этом, то критическая строгость умолкает и остается одно чувство – уважение к их практическому уму и нравственной силе.

Скажу еще вот что: и в Руссике, и в Андреевском скиту *прежде всего* позаботились о красоте и богатстве храмов, а *потом* об удобствах для посетителей и о помещении для братии. В обеих обителях иноки, видимо, считали долгом деньги благотворителей употребить прежде всего на украшение церквей своих.

Так понимают афонские монахи свой долг! Чтобы яснее видеть, что такое *честное* монашество, стоит только из церкви, где блистает золото, серебро, хрусталь, дорогие иконы, облачения дорогие, – пойти в тесную, душную комнату монаха или спуститься в трапезу, где братия ест *«травку и травку»*, как писал г. Благовещенский в своей книге об «Афоне».

## Письмо 2-е

24 июня 1872 г.

Монашеские характеры, я, кажется, писал тебе, на Афоне очень разнообразны. Правила и образ жизни, уставы, степени отречения, подчинения и свободы также очень различны.

Как ни грустно мне, как ни занят я сам собою и тысячей вопросов, которые теперь для меня вопросы жизни и смерти, я не могу не видеть того, что меня окружает здесь.

Самые эти вопросы, которые я беспрестанно должен задавать себе, вынуждают меня иногда быть внимательным к тому, что происходит вокруг меня. Я хочу поучаться примером других и испытывать себя путем сравнения.

Я не стану говорить тебе, сколько здесь монастырей, скитов, монахов. Ты все это найдешь, если захочешь, подробно изложенным в других книгах и статьях... Отыщи их, если тебя это занимает. Можешь прочесть, например, небольшую статью «Панславизм на Афоне» в «Русском вестнике» за этот год. Там это все есть.

Святогорец говорит, что на Афоне монаху предстоит по крайней мере до восьми различных образов жизни. Я нахожу, что их гораздо больше, если считать уклонения и оттенки.

Но пусть будет 8. Я перечту на память:

1. *Киновии*: общежительные монастыри, где все общее, где все равны. Большая строгость.

2. *Идиоритмы*, монастыри своеобразные; не строгие; где не все общее и где каждый имеет значительную долю свободы.

3. *Отдельные келий* (дома с домовыми церквями) вне монастырей. Жизнь вдвоем, втроем и т. д. без определенного устава.

4. *Каливы* — пустынные хижины без домовых церквей.

5. Жизнь в *скитах русских*; наподобие *общежительных* монастырей; в общих «корпусах» зданий.

6. Жизнь в *скитах греческих*: наподобие села, состоящего из отдельных домов или келий; устав строгий, но образ жизни, походящий с некоторых сторон на *идиоритмы*.

7. Отдельные *монашеские* квартиры на *Карее*, афонском городке.

8. Пещеры в лесах, по берегу моря, в безлесных скалах; просто под камнями, под открытым небом.

Поговорим о самой главной форме святогорской жизни — форме киновиальной.

В киновиях все более или менее равны, все подчинены одинаково и безусловно избранному обществом игумену и помощникам его, главным духовникам. *Собственности* не сохраняет при себе никто. Все отдается в *общую* кассу; но в случае неудовольствия и твердой решимости оставить монастырь хорошее монастырское начальство выдает обратно непокорному сыну внесенный им вклад.

Киновии могут служить прекрасным предметом изучения для самих коммунистов. Изучая киновии, можно допустить, что коммунизм, не как всеобщий закон, а как *частное* явление общественной жизни, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха. Эта дисциплина, этот страх не материальной природы; это несокрушимая *идеальная* узда веры, любви и почтения. В страхе христианском если и есть эгоизм, то есть забота о загробном спасении души при *разочаровании во всем земном и непрочном*, то называть этого рода заботу эгоизмом (как выдумали многие и не из крайних просветителей нынешнего человечества) было бы уже слишком недобросовестной натяжкой! Положим, думать о *загробном* спасении — эгоизм; но благодаря этому воздушному, туманному, отдаленному и неосязательному эгоизму от скольких движений эгоизма

грубого, *земного*, ежедневного освобождается хороший христианин! Какое высокое забвение личного своеволия! Какая покорность идее! Солдат, и не слишком плохой, быть может, и патриот, в иную минуту не бежит из полка от материального страха, от боязни, что его расстреляют, прогонят сквозь строй или сошлют на каторгу. Монах-киновиат в самую тяжкую минуту (а как часты эти тяжкие минуты в многолюдной и трудовой общине!) не бежит из обители от одной *идеальной* боязни *греха*, то есть от страха оскорбить и прогневать Божество, Которое его создало и дало ему разум и волю для внутренней борьбы против злого начала, присущего мирозданию.

Уничтожь в себе *волю!* Тебе не хочется сегодня молиться? Молитвы тебе кажутся сухими; они ничего не говорят твоему воображению и сердцу. «Молись! – говорит духовник. – Поверь мне, сын мой, что начнешь ты с досадой и тоской, а встретишь потом одно или два слова в этих заказных молитвах, от которых вдруг раскроется душа твоя в радости и ты будешь утешен и награжден тут же за твое усилие». И это правда. Я это сам испытал...

Уничтожь в себе *волю!* Ты хочешь спать? Звонят к заутрене в полночь. Ты хочешь есть? Потерпи. Ты хочешь разговаривать вечером с другом, особенно если ты молод? *Старый батюшка*, старший духовник, обходит коридоры и стучит в вашу дверь, предлагая разойтись и не договариваться по неопытности до предметов, которые могут после смутить вас и быть вам вредны. Хочешь ты прочесть новую книгу? Без *благословенья* нельзя. Сижусь я теперь, перед вечерней, в моей келье; минута свободная нашлась. Я видел у приезжего мирянина, кажется, хорошую книгу на столе; духовную, вероятно, книгу, писанную светским человеком: «Сущность христианства». Отчего бы ни прочесть ее? Но духовник, измученный недугами и бдением ночным, лег отдохнуть. *Старец* мой (особый наставник иноческой жизни, которому я поручен) занят теперь делом. Я не смею прочесть эту книгу. Потом, уловив минуту, прошу благословить. «Нет благословения читать тебе эту книгу».

Я огорчен и сообщаю мимоходом свое горе другому монаху, ученому; он был в академии, и книгу эту недавно я видел в его руках.

Ты не *понесешь* этой книги, – отвечает он мне, – ты еще легкомыслен.

Вот и оскорбление! Горе? Нет! Оскорблению надо радоваться; и еще больше, когда оно *незаслуженно*. Чем же я легкомыслен? Не тем ли, что, покинув мать, отца, дом в дальней родине и деньги, быть может, и молодую невесту, театры и гулянья городские?! Да! Быть может, этот монах, который меня, бедного, назвал легкомысленным, и не прав. Но я не знаю этого *наверное*, и потому лучше думать, что он прав; не гневаться мне на него надо, а благодарить и благословлять его. Я иду к нему и падаю ему в ноги: «Простите, отец, я осуждал вас сегодня за ваши слова о моем легкомыслии». Он отвечает мне тоже земным поклоном. Мы примирены. Я рад, я счастлив! Но надолго ли я спокоен совестью? По природе моей я или вовсе незлобив и не вспыльчив, или обладаю твердой волей, которая иногда довольно легко овладевает моими увлечениями. Такие случаи, в которых я обнаруживаю мое смирение, мою доброту и покорность, повторяются часто. Я как будто счастлив и спокоен; здоровье мое крепко и позволяет мне выносить без худых последствий долгое пение в церкви, бдения ночные во храме в обыкновенные дни по четыре часа, а под иные праздники по тринадцати часов, до самого рассвета. Силы мои, слава Богу, так свежи, привычка к телесным, монашеским подвигам у меня уже так сильна, что я, простоявши всю ночь на ногах в *стасидии*<sup>1</sup>, могу еще наслаждаться тем, что утренняя заря за морем занимается именно в ту минуту, когда во храме нашем возглашают: «Слава Тебе, показавшему нам свет!»

---

<sup>1</sup> В греческих церквях вокруг стен устроены особые места, чтобы облакачиваться.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.